

Из цикла "Бедный Нью-Йорик"

Узбек

— Правда, он похож на хаджу Насреддина?

— А ты что, видела этого хаджу? — Ник порылся в пепельнице, созданной из баночки от рижских шпротов, которыми завалены все брайтонские продуктовые магазины, так, как некогда в совке они были завалены килькой в томате, достал бычок подлиннее и начал долго чиркать неговорчивыми американскими спичками. На его небритой, усатой, опухшей от пьянства роже зрело недовольство. Наконец удалось — и он с жадностью затыкнулся раз, другой. Но тут Светка ловко вынула окурочек из его трясающейся десницы и сама присосалась.

— Ну вот, всегда так...

— Колька, не брюзжи — ты же добрый бурлак.

— А ты и рада попользоваться моей добротой...

— Заткнись, я за квартиру плачу, а ты не просыхаешь второй месяц. Сходи уже поработай, хватит надираться с Узбеком. Надоело его морду ушкопеночную регулярно видеть.

— А когда он жратву из grosера приносит — уплетаешь и помалкиваешь. Ах! Шара подкатила... Знаешь, как он наемни проколотся? Он же как ворует: за одну баночку расплачивается, а остальное в своих глубоких карманах так уносит. А тут у него кошелек провалился на дно, ну, и пришлось за все заплатить. Едва наскреб... Даже оставил что-то, кажется.

Ник небрежно смахнул с импровизированного стола, а точнее, с заваленного объедками стула наглого зеленоватого чертенка, усевшегося на пустую банку "Саппоро" и норовившего плюнуть оттуда в пепельницу, и продолжал:

— Мне кажется, эти индусы давно знают, что он вор, но жалеют его. Он платит частично, а цены ведь всегда рассчитаны так, чтобы покрыть воровство...

— Это ты мне, бухгалтеру, вешаешь про цены... А он так и живет на "бодварке"?

— А куда он денется? Ты ж его не приютишь. Повезло мне с тобой, Светка, в Америке.

— Зато мне АМЕРзко тут очень — и спиваются все. Думала, приеду,

упаду на хвост какому-нибудь миллионщику завалиющему... ну, в смысле, солидному, а вместо этого тебя, уroda, себе на шею посадила. Я ж тебе в матери гожусь. Не стыдно тебе?

— Ты у меня красавица, — сфальшивил Ник.

— Да, особенно сейчас, с фингалом.

— А нечего было встревать, когда мужики спорят.

— Иди ты...

— Узбек же в меня целился, а ты под руку подвернулась.

— Я тебя защищала, котенок, — Светка оседлала развалившегося на матрасе Ника и стала его целовать в самый низ пивного живота, который у косматого двадцативосьмилетнего великана был, как у солидного сорокалетнего мужика. Светка же в свои сорок шесть выглядела очень молодо, потому что маленькая болонка до старости щенок. Она и была на болонку похожа: короткие рыжие кучеряшки, визгливый голосок, вздернутый носик-пуговка, красные глазки навывкате... Три года нелегальной иммиграции. С Ником по пьяной лавочке переспала, а потом втянулась. Так и пашет теперь за двоих. Вот только что напахать может малогабаритная старая кляча? Если бы Узбек не подкармливал зимой своим воровством, совсем худо было бы. А Николай конкретно спивался. Просто на глазах. На Украине у него была семья. Случайными заработками он обеспечивал жене и дочери нормальное существование в Лубнах, а сам катился ко всем чертям, которые окончательно обнаглели, лазили по Светкиной кровати, дергали спящего Колюню за нос среди ночи. Терпел: в прийомах жить не подарок, но на работу ходить все тяжелее и невозможнее.

— Узбек должен был в два прийти. Жрать охота уже. Где его черти носят? — Ник сказал и нервно покосился на руины тумбочки, из ящика которой выглянула наглая косорогая харя и, высунув язык, принялась ловить тараканов и грызть их, как семечки. Ника стало подташнивать от отвращения, но Светка продолжала развратничать, неугомонная. Оставалось терпеть и голод, и чертей с тараканами, и оральное изнасилование, которое, кажется, скоро иссякнет и сойдет на нет само по себе, от полной бесперспективности. Наконец-то раздался характерный узбекский стук в темный бейсмент на Шестом Брайтоне, в котором кроме двуспального матраса, кривоногого стула, заменяющего стол, и обшарпанной покосившейся тумбочки ничего не было. И все это было завалено пустыми бутылками от вина и водки, еще более пустыми банками от пива, обедками, тарой. Нику все время казалось, что черти гадят прямо в комнате. Он то и дело наступал на продукты их жизнедеятельности. Светка оторвалась от

самой почитаемой ею части тела Ника, вытерла губы и пошла открывать. Ввалился Узбек в большой и широкой куртке, как бы с чужого плеча.

— Чего так долго? Мы тут чуть с голодухи не передохли. Нищая страна все-таки, эта Америка вместе с ее Нью-Йорком!

— Так я, того, в подземке заплутал. Мне сказали, что с этой станции неразборчивой надо на трейне "Ф" добираться. Я стою, значит. Долго так стою, жду, значит. А идут какие-то другие. Ну, потом спросил, а мне и говорят, что тут только "Ф" и ходит...

— Так чего не садился? — Светка деловито доставала харчи из-под подкладки узбецкой куртки и компоновала на стуле.

— А я такую "Ф" ждал, русскую, — Узбек поднялся во весь свой невысокий рост и подбоченился, как для исполнения частушек или казачка, и очень похоже изобразил означенную букву, причем щеки раздул тоже Ф-образно. Ник увидел краем глаза, что чертенок в тумбочном ящике тоже заржал вместе со всеми, а потом плюнул в Узбека останками рыжего таракана. Началась пьянка, постепенно шумнея. Узбек в сто первый раз радостно рассказывал про свой трехэтажный дом в Самарканде, из-за которого он и поехал на заработки.

— Очень много денег должен! Очень! Там трудно было заработать.

— А здесь легко? — Ник с опаской посмотрел на тумбочку.

— Если так, как ты, вкалывать, Колюня, везде можно с голоду подохнуть, даже у нас в Иркутске, — съязвила Светка и хлебнула водки прямо из бутылки.

— Э-э-э, ты совсем озверела, — запротестовал Ник, но в это время мелкий нахальный чертяйло подкрался к бутылке, охватил ее лапами и попытался сдвинуть с места. Ник вырвал бутылку у черта, заодно и Светке помешал еще раз из горлышка хлебнуть.

— А мне сегодня сумасшедшая белка дорогу перешла, — вздохнул Узбек, — медлительная, как бы обкуренная. Я даже остановился, чтобы ей дорогу уступить.

— Это была белка Ника! — Светка попыталась обнять своего бурлака, но он обиженно оттолкнул ее сморщенные жилистые ручонки.

— Нет, правда. Ты же сам говорил, что уже чертей видишь...

— Да нет, ну, белка как белка, но мне показалось, что это не к добру.

— Ладно, чего дрейфишь, не кошка же, не черная же... — Светка снова попыталась отхлебнуть из горлышка, но Коля опять успел проследить за порядком.

— А мне как-то весь день тревожно было. В гросере подумал, что сего-

дня точно поймают. Я этой белке чертовой чуть на хвост не наступил. А почему водки и пива так мало взяли?

— Так деньги кончились. Со мной Сарка только в пятницу расплатится. Она вообще-то добрая, не то, что эта змея Рэйшел, у которой я раньше убиралась: вот сука, следила за мной, еще и недоплачивала. А у Сарки лучше, хоть и шестеро дебилов мал мала меньше...

— Ник, а почему ты не ищешь работу? Эдак скоро вместе со мной под мост на "бодварк" перекочуешь. Сел на шею бабе и ножки свесил... У нас на Востоке таких мужиков презирают... Мы ж договорились: я хавку приношу, а вы пойлом обеспечиваете, — Узбек выпил залпом целый стакан, а Ник вдруг увидел на его левом плече белку с рожками и сам не понял как, очень уж быстро все произошло, запустил в нее пустой бутылкой и попал в голову хаджи. Тот схватил Ника за грудки и они немного поборолись в обнимку под визгливый вой Светки, забившейся в угол. Каким образом длинный хлебный нож оказался в трясущейся руке Ника, никто уже никогда не вспомнит, но удар пришелся в живот. Коля отпрыгнул и упал на матрац. Чертята, удобно отдыхавшие на грязном покрывале, бросились врассыпную. Узбек покачнулся, но так и остался стоять на коленях, разглядывая, как по его грязно-желтой рубашке вокруг черной рукоятки ножа расплзается кровавое пятно.

Труп мертвой покойницы

Что же ты натворил, Андрис? Наступил на горло моей песне. И ничего не связывает нас с тобой теперь, кроме веревки, на которой задолго до нашего знакомства повесилась твоя жена. Бесполезно заниматься перетягиванием этого каната: ты — очень красивый, высокий, синеглазый блондин — успешный программист с американским стажем, а я — метр с кепкой, худосочная, близорукая нелегалка со взъерошенным пегим ежиком на макушке и филологическим дипломом, которым здесь, в Новом Свете, можно только подтереться — типичная серая мышка...

Сейчас, когда я вспоминаю эту вспышку страсти с моей, разумеется, стороны, мне становится грустно и жалко, что ты отравил меня трупным ядом, когда нагрузил по полной программе своим жизненным ужасиком.

А все потому, Андрис, что автора во мне больше, чем просто женщины. Ведь даже когда ты обсасывал каждый пальчик на моей ноге, а я, ослепнув и оглохнув от кайфа, тонула в океане бартолина и, путаясь в падежах,

шептала тебе свои несусветные признания и клятвы, даже тогда мой третий глаз был зорек и скептически прищурен. Он фиксировал и облекал в нарратив все происходящее. Под колокольный звон костела, адресующий к романтизму. Так не дай тебе Бог попасть когда-нибудь мне под горячее перо.

Я снова и снова прокручиваю а памяти злополучный Зойкин юбилей в "Белке", где она сломала ногу, лихо отплясывая с незнакомым длинноволосым придурком, который уронил ее на излете тодеса, и она грохнулась на паркет своей кустодиевской задницей. Ее в госпиталь увезли, а ты, на которого я, как идиотка, исподтишка пялилась весь вечер, неожиданно стал меня клеить, да так явно... А после того как зареванную Зоищу с бриллиантовой ногой вернули в ресторан, где ошалевшие от сюжетного виража гости продолжали надираться и ждали, чем окончится хирургическое вмешательство, мы оказались в одном такси. Меня немного кольнуло то, что ты черному водиле по-аглички сказал — чтобы он сначала тебя к мосту с итальянской фамилией отвез, а затем леди скажет, куда ей нужно. А потом так небрежно повернулся ко мне и со своим легким балтийским акцентом предложил:

— Но если хочешь, можешь у меня переночевать. Если хочешь...

Еще как хочу. Уже глубокая ночь, а живу я в мексиканской общаге на Шестом Брайтоне. Сейчас домой ехать — соседей будить. Я ведь всего месяц в Нью-Йорке, вот и живу в этом тараканнике.

Теперь я уже знаю, что красивый мост, который гирляндой висит в окне твоей спальни — Врезано-бридж.

Тогда я еще ни Нью-Йорка, ни тебя не знала.

— А как ты меня вычислил, я ведь на самом дальнем краюшке стола сидела? — спросила я, когда ты, словно наждачкой, шкуруил мой вспухший от возбуждения сосок своим красивым с ямочкой подбородком в модной пятидневной щетине.

— А что было вычислять? Ты когда танцевать вышла, я сразу понял... в тебе столько огня. Ты так извивалась, что у всех мужиков челюсти отвалились, — ответил ты. Беда в том, что ни хрена ты не понял тогда...

Утром, когда проснулись, ты вдруг сказал мне, голосом искренним и проникновенным, как у главного героя мексиканского сериала или народного артиста на полувековом юбилее его творческой биографии: "Не возвращайся в свою Флориду... Как я теперь буду жить без тебя?..". В это время ударил колокол в костеле напротив. Вот тут-то у меня крыша поехала окончательно. Меня точно волной горячего меда обдало. Надо ска-

зять, что мой организм давно не получал такой убойной дозы наслаждения, как в эту столь трагически начавшуюся ночь. И это притом, что у меня тогда были критические дни, а у тебя с перепою за Зойкино здоровье — пизанская башня вместо эрекции. Я до сих пор брежу тактильными воспоминаниями нескольких наших совместных пересыпов, которые случались редко и только при условии полного отсутствия трезвости с твоей стороны и настойчивой инициативы с моей. Ты опутывал меня своими щетинистыми щеками точно колючей проволокой, через которую пропущен ток, превращая все мое тело в сплошную эрогенную зону. Твои губы были везде, от чего я зверела и оглушительно стонала. Тебе даже иногда приходилось зажимать мне рот ладонью, чтобы я не разбудила твоего сына, спящего в соседней комнате. В постели ты был классическим альтруистом, нежным и ласковым, как лесбиянка, и обращался со мной трепетнее, чем с самой любимой женщиной, а в жизни был эгоистом, каких свет не видывал, говорил со мной только о себе и своих проблемах и обидно пренебрегал мною. Я неделями, а то и месяцами ждала твоего звонка. На работе, в редакции русской газетенки, куда Зойка меня по благу пристроила через неделю после моего приезда из Флориды, у меня из рук все валилось: я стирала нужные файлы, чем доводила до ора нелегитимной лексикой нашего главного редактора. Но все равно — это было замечательное время. Я почти полюбила Нью-Йорк, потому что встретила здесь тебя. И дождливый Манхэттен казался мне волшебным из окна твоей серебристой "Максимы".

Теперь это все в прошлом, потому что, когда я посвятила тебе несколько слишком эротических текстов, и ты врубился, что я не только доступная женщина, но еще и личность, литератор, что дурачить и обнадеживать меня подло, ты, чтоб жизнь мне медом не казалась, выкопал из мерзлого рижского грунта прах своей Наташи. Просто позвонил поздно ночью и заплетающимся от хмеля языком: "Я хочу умереть любимым, раз уж не могу любящим умереть!" — попросил привезти тебе яду.

Я вызвала карсервис и приехала в Бэй-Ридж.

За три месяца знакомства я видела тебя только пьяным или с бодуна, но в ту ночь ты себя превзошел. Меня всегда удивляло, что ни уровень твоего интеллекта, ни способность острить и играть словами, ни твоя блестящая память, ни твое фантастическое обаяние не снижаются пропорционально пустоте, образующейся в стеклотаре.

Ты налил мне водки, выпил сам и сказал, что не любишь меня.

— Понимаешь, я не могу ее забыть, не могу. Никто не заменит мне ее

никогда. Ты даже не представляешь, как я был счастлив с ней. Это были десять лет абсолютного счастья. И когда Владис родился... Знаешь, мы всюду с ним ходили, на все тусовки, он в корзинке на столе спит, а мы празднуем с друзьями... Весело было тогда, не будет так больше: везде вместе, неважно куда ходить, хоть за картошкой... И скоро уже столько же лет пройдет, как ее нет. Я тоже тогда чуть не пошел за ней. А нужно было только оставить ее на время в покое, отпустить к этому... она бы все равно вернулась, она всегда возвращалась ко мне. Я потом уже узнавал, какие у меня были соперники, и могу гордиться тем, что она все же меня предпочитала... она не была шлюхой, она просто влюблялась, просто влюблялась. Я даже не ревновал ее... То есть, ревновал, конечно, но высказывался редко, только если крепко надирался... Я ведь много работал: итээровских денег не хватало, так я строил коровники и амбары в селах... отсутствовал... а она оставалась одна... она, знаешь, какая красивая была, глазищи чайного цвета, рыжие волосы, длинные, как у русалки... и пластика Багиры... талия тонюсенькая... кожа пахла малиной и клюквой, я дурел от ее запаха. А грудь... у нее губы и соски одного цвета были — вишневые... Еще тембр голоса у нее был удивительный, завораживающий — она играла на гитаре и пела, в нее все влюблялись, все мужики от нее без ума были. А в ту ночь... Сидим мы на кухне с ее любовником, а он тезка мой, полное ничтожество, кстати. Она нам говорит, дескать, вы чайку попейте мальчики, а я спать пошла. Я только утром, когда этот стал домой собираться, заглянул в спальню, а ее нет. Тут я сразу догадался... она ведь уже однажды пыталась с собой покончить, когда ей было восемнадцать. Я тоже пытался... это совсем не больно... когда она мне первый раз изменила... я, правда, был в алкогольной анестезии, очнулся от удара по голове. Свалился и ударился. Не выдержала меня веревка. Как меня Наташка по щекам тогда отхлестала. Просто наотмашь изо всей силы... Я бы и сегодня, наверное, повесился, если бы ты не приехала... А ее вот веревка выдержала... Захожу в уборную, а там моя жена висит вприсядку. Этот идиот стал кричать, что надо скорую вызывать... Я Наташку из петли вытащил теплую совсем, а она вдруг глаза открыла, и смотрит. Я — "не нужно вызывать, — говорю, — сами откачаем", — и стал ей делать искусственное дыхание, а он скорую вызвал все-таки. Те приехали и говорят весело — зачем звали, она ж мертвая... Владке тогда только девять исполнилось... она ведь и от него ушла... Знаешь, как трудно было одному с малым... Никто из ее родственников не знает, что суицид, я у друга-медика липовое свидетельство о смерти выписал, а настоящее у меня. Я потом каждый день с бутылкой

водки на ее могилу приходил, сам чуть не подох, как не спился окончательно, удивляюсь. Проект совместный с американцами спас... Я отвлекся... ушел в работу на время... очень трудно было поначалу. А то в Риге, бывало, сижу в кресле и думаю, кто бы меня к этому креслу привязал, чтоб я не рванул на кладбище и не выкопал ее. На баб вообще не мог смотреть, даже думать о других не мог. Только через пять лет она меня отпустила. Но все равно, так, как с ней, ни с кем и никогда не было и не будет. Как сейчас помню, сидит она перед зеркалом, глаза красит, я сзади подошел, а она хитро так подмигнула мне в зеркало... и не пошли мы ни в какой театр. А один раз мы даже в самом центре Риги у Домского собора трахались, она меня где угодно на это дело раскрутить могла... Я не могу жить без любви, понимаешь, но сердце мое молчит... молчит. А любовь для меня — это постоянное шелание саниматься любовью с отной етинственной женщиной... Я федь ей ни разу не изменил!

Эту последнюю фразу ты почти кричал, а я не своим голосом сказала вдруг:

— Как мне хочется ударить тебя по лицу изо всей силы!

— Са што? Са то, што мне так плохо?! — твой акцент сильно усилился.

Нет. За то удовольствие, с которым ты страдаешь сам и рассказываешь мне о своих страданиях. За твой садомазохизм. За твою некрофилию. За то, что ты при мне позволил себе так раскиснуть и быть слабым. За то, что ты не любишь меня, потому что я — не она. За то, что живые не должны завидовать мертвым, черт подери... Но всего этого я не сказала тебе, только обняла и погладила по мокрым всклокоченным волосам. У меня было такое чувство, будто меня сначала изнасиловали, а потом толкнули на аборт.

Какого ты поволок меня после всего вышеизложенного в постель, и какого я пошла в нее? Все равно ничего не вышло... А ночью, когда ты спал глубоким похмельным сном, дверь шкафа в спальне бесшумно открылась, и из него выпал скелет, с грохотом распадаясь на позвонки, ребра, плюсовые и берцовые слова, буквы, знаки препинания...

Миллионер с душком

О Феликсе Алле все уши прожужжала одна давно выжившая из ума московская циркачка из Квинса. Она характеризовала его как очень богатого, очень наивного и очень одинокого человека. Три года назад от Феликса ушла жена, а дочь была уже замужем. "Он здесь лет тридцать, приехал из Вильнюса, был хирургом. Может, с работой поможет, а может, ты

ему и для большего подойдешь..." — тараторила она Алле по телефону. Акробатка дала Феликсу Алкин номер домашнего телефона, причем, так как та жила в коммуналке и имела общий телефон с соседкой Матильдой, тоже бывшей киевлянкой, — из-за Феликса у подружек неожиданно вышел конфликт. Трубку взяла Мата и своим мелодичным, как музыкальная шкатулка, голосом замурлыкала: "Аллочка на работе, а что передать? А я тоже имею медицинское образование. А я тоже не замужем, представьте себе. Встретиться? С большим удовольствием. Да. Приезжайте к нам в Бруклин". Когда Алла пришла с работы, Матильда, выкатив на кухню шар своего организма, бесхитростно и подробно рассказала Алке о произошедшей подлости. Алла обозвала Мату сукой и сказала, что Феликса видеть не желает, раз ему все равно с кем...

— Ты что, сама не понимаешь, что поступила нестирильно!!! — громко, чтобы слышал Матин сынок, кричала она подруге на их общей крошечной кухне.

— Я просто из шкурных побуждений, — оправдывалась Матильда. — Он сказал, что был владельцем медицинского офиса. Я и подумала, может, он с работой поможет... связи и всякое такое... Я же не знала, что ты с ним знакомишься как с женщиной...

Но Алла рассердилась не на шутку. Если бы ее с соседкой не связывали одиннадцать лет совместной службы на киевской "скорой помощи", общие воспоминания об общих знакомых и разные курьезные случаи, если бы не было так тяжело на первом году эмиграции, это был бы последний день их дружбы. Но здесь, в Нью-Йорке, у них не было знакомых из прошлой жизни, вообще почти не было знакомых... Мата выиграла грин-карту, а Алку вызвала старшая сестра Валя, которая недавно получила американское гражданство и тяжело болела. Она нуждалась в помощи. Но через неделю после Алкиного приезда сестры поссорились, как бывало в детстве, и умирающая от рака Валя в приступе гнева просто выгнала Аллу на улицу. К этому времени Мата с младшим сыном уже успела поселиться в только что перестроенное общежитие на Шестом Брайтоне, в котором не было мебели, но зато было множество тараканов, благополучно переживших капремонт. У Аллы не оказалось другого выбора, и она сняла крошечную комнатку на том же этаже. Мебели натаскали с гарбича, работы постоянной не было, возраст оставлял желать меньшего. Короче говоря, нормальная эмигрантская ситуация.

Феликс приехал на роскошной новенькой "ауди". Такие машины редко останавливаются здесь. Он оказался лысоватым приземистым очкариком

с брюшком, жидкой бородашкой и большой бородавкой на правой щеке. Мата принимала гостя на общей кухне, в то время как Алла принципиально сидела в своей комнатухе, не желая выходить знакомиться с гостем. Она слышала мелодичный смех толстушки Маты и глухой, довольно нудный баритон из кухни, но так и не вышла. Она знала, что у Матильды практически нет шансов, потому что мало какой джентльмен западет на такую толстуху, к тому же не чувствующую, что одеваться в ее возрасте и при таких габаритах надо как-нибудь по-другому. Ну, хотя бы, не в обтягивающие три живота лосины до колен и совершенно не идущую по цвету и трещащую по всем швам полупрозрачную маечку. Но у Маты была завышенная самооценка. Алла посмотрела на себя в зеркало. На улице она до сих пор тормозила мужское внимание своей легкой фигурой и походкой. Но главное волосы. У нее были струящиеся, длинные, иссиня-черные блестящие волосы и сверкающие цыганские глаза. А еще она была "черной вдовой": пережила двух мужей. Один погиб в Афгане, когда ей было двадцать, а другого она похоронила за год до переезда в Америку. Он крепко пил из-за служебных неурядиц и умер от цирроза печени. Детей так и не завели...

Через два дня Мата все-таки познакомила Аллу с Феликсом, когда поняла, что он не клонил на ее собственную пышность. Она нахально затащила его прямо в Алкину комнату в самый неподходящий момент: Алла сидела в косметической маске цементного цвета и напоминала Фантомаса. Потом, после смывания маски, подруги были приглашены в ресторан "Татьяна" на "будварке", и Феликс очень воодушевился, увидев Аллу при косметике и в облегающем красном платье. На каблуках она была чуть выше его, но его это совершенно не смутило. Он вел себя, как павлин, и очень старался понравиться. Но не понравился.

Единственная причина, по которой Алла сразу не отшила его — было его внешнее сходство с одним из ее бывших кавалеров — Мишей Хейфецем. В период между ее замужествами они с полиглотом Мишкой поехали вместе в Венгрию, и там, Будапеште, он отдал всю их общую валюту местному Остапу Бендеру в обмен на замшевые куртки, которые оказались искусственной кожей. Тешфет был проигрышным, и остаток отпуска неудачливые туристы во всем себе отказывали. Хейфец знал все языки на свете, даже венгерский. Но лучше бы он не знал никаких, тогда бы не состоялась сделка с аферистом, после которой все общие знакомые стали его Замшицем называть. А через два года у этого несчастного обнаружили шизофрению и заперли в психушку.

Подруги рассказали Феликсу эту историю. Вообще, в ресторане про-

сидели довольно весело и долго. Вспоминали разные случаи из своей прошлой медицинской жизни. Про санитаря по фамилии Могила. Как однажды вместе на вызов поехали, а там инфаркт — явная госпитализация. Укол сделали и говорят между собой: "Больного Могила заберет...". А жена инфарктного в истерику. Ей тоже укол делать пришлось.

На прощание Феликс попросил Аллу встретиться с ним в ближайший выходной.

Через три дня был День Независимости. Феликс долго водил Аллу по крыше "Близнецов", но было пасмурно, и Нью-Йорк с парадом военных кораблей в проливе было видно сквозь зыбкий и густой флер. Алла была очень хороша в белом брючном костюме, со своими блестящими черными волосами. Потом бродили по художественным галереям в Сохо, наконец-то проголодались и решили поесть. Феликс выбрал для этого какую-то дешевую забегаловку, а когда добрались до паркинга, он, получив счет, сердито сказал: "Представляешь, паркинг обошелся дороже, чем ланч!". Алла оторопела. Ей даже смешно стало. Перед этим он битый час рассказывал ей про свои дома — что самый дешевый из них стоит полтора миллиона. Еще про дочь рассказывал, которая работает на Уолл-Стрите акулой империализма, ну, то есть, менеджером банка с окладом триста пятьдесят тысяч в год. Потом эта самая дочь позвонила ему на сотовый телефон и позвала на "парти". Он долго говорил с дочерью по-английски, объяснял, что может приехать только с русской знакомой, акула, судя по всему, упиралась, но он ее уболтал.

На "парти" Алле было мучительно скучно среди англоговорящих миллионеров. Зато она увидела бывшую жену Феликса, даму улыбчивую и приятную во всех отношениях, их зубастую загорелую дочь и спортивного покроя зятя. Новый муж бывшей жены тоже был здесь и был похож на Феликса, как родной брат. Алле было дискомфортно в антураже телесериалов "Династия" и "Санта-Барбара". Не понимая почти ничего, она почувствовала, что произвела впечатление экзотической зверушки, да и скрывать скуку среди улыбчивых богатеев было нелегко.

Феликс периодически спрашивал Аллу, как она себя ощущает, и она кратко отвечала: "стерильно". Когда "парти" иссякло, Феликс позвал ее к себе домой, заранее извинившись за беспорядок, который происходит от депрессии, в которой он пребывает последние годы.

Но то, что он назвал невинным словом "беспорядок" оказалось полной катастрофой. В его трехэтажном доме, похоже, несколько лет находился хлев, а свиней только вчера перевели в другое место. Повсюду в несколь-

ко слоев валялись объедки, упаковки от продуктов, грязное белье впере­мешку с очистками от овощей, на стенах старинные картины в паутине, на антиквариате — подлинная вековая пыль. Гостью даже стало подташ­нивать от помоечного запаха миллионерского жилища и обилия мошкеры над раскиданными повсюду пищевыми отходами. Она довольно резко вы­сказалась по поводу этого кошмара и сказала, что хочет домой.

Он позвонил на следующий день: пригласил в гости и сказал, что на­вел порядок собственноручно. Наверное, на уборщице сэкономил, — по­думала Алла. Потом она долго на кухне обсуждала с Матой Феликса с его домом, семьей, скарденностью и перспективами. Речь шла о том, чтобы сра­зу отказаться, не морочить голову этому несчастному, раз душа не лежит. Но Мата, женщина практичная, уговаривала съездить, мотивируя тем, что любая баба на Алкином месте бы от счастья прыгала — такие деньжищи, дом в Гринвиче, в райском месте.

— Не нравится он мне! Совершенно! У него так нестирильно...

— А как же Замшиц? С ним же ты могла. А они так похожи.

— Мишка был забавный, все знал, о чем ни спросишь. А с этим скуч­но. Скучно.

— Ну, попробуй. Дай себе шанс изменить жизнь. Ты же в Америке — стране чудес. И с работой он может помочь... Хирург...

— С работой! Да он давно забыл, когда последний раз больного видел. Он уже много лет только дома скупает, ремонтирует и продает втридорога.

Все-таки в субботу, когда Феликс снова приехал на своей роскошной машине, Алла поехала к нему в гости. Убрано было не идеально, но нахо­диться в доме, а особенно на террасе в саду с видом на озеро и холмы бы­ло даже приятно. Гостеприимный хозяин заказал деливери из ресторана, поставил на стол несколько очень редких и дорогих вин и коньяков — на выбор. Когда стемнело, он зажег свечи. Стало романтично. Они вернулись со свечами в дом, потому что ветерок задувал пламя. Миллионер стал по­казывать Алле кассеты со своими зарубежными поездками. Италия, Ис­пания, Греция, Кипр, Египет, острова... Дорогие гостиницы, достоприме­чательности, известные по клубу кинопутешествий... Чужая жизнь.

Потом целоваться полез. Сначала, пока руки целовал, еще ничего бы­ло, не так противно. Но когда дыхнул ей прямо в лицо смесью запахов ужина, гнилых зубов, сигарет и еще чего-то неуловимо-противного, ее на­турально стошнило.

Превозмогая отвращение, она еще некоторое время терпела его ласки, но когда он, продолжая целовать ее, снял рубашку, и она увидела на его ле-

вом плече островок седеющей густой шерсти величиной с ладонь — стало совсем немогогу. Она резко оттолкнула его руки, вскочила, и, схватив сумочку, выскочила на улицу. Пока несостоявшийся жених мешкал, надевая рубашку и застегиваясь, она уже довольно далеко отбежала на своих длинных шпильках от его дома, думая, что бежит в сторону железнодорожной станции, повторяя в уме: "Нестерильно, не могу, не могу, никогда не смогу..."

Нью-Йорк

